

СТИХОТВОРЕНИЯ 1912–1917 ГОДОВ

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жуть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

[1912]

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных
проституток.

И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба

крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

[1912]

Из улицы в улицу

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнились в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы

тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули,

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

«Я не хотела!» —

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь

сладоострастно снимает

с улицы

черный чулок.

[1913]

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

[1913]

Я

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,

Владимир Маяковский

целуется газетными киосками,
а шлейфа Млечный Путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.

В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя —

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной

пробегают народа шорохи

от кровати до угла пустого.

Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»
[1913]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал грóба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!

Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалой мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

[1913]

Кофта фата

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

[1914]

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?»

Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

[1914]

А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

Война объявлена

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьем криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урóдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»

А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма-а-а-ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбрыцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

[1914]

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

[1914]

Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,
36,24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, — набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощут.
Вот он!
Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,

разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфѳ!

Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!

Владимир Маяковский

В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваеете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре ...¹ буду
подавать ананасную воду!

[1915]

Чудовищные похороны

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашенное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная óжила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

¹ Слово на букву «б» во множественном числе.

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — каша,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

[1915]

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетинаясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

[1916]

Ко всему

Нет.

Это неправда.

Нет!

И ты?

Любимая,

за что,

за что же?!

Хорошо —

я ходил,

я дарил цветы,

я ж из ящичка не выкрал серебряных ложек!

Белый,

сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.

Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури

строгое —

древних икон —

чело.

На теле твоём — как на смертном óдре —

сердце

дни

кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.

Ты

уронила только:

«В мягкой постели

он,

Фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Маааррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!
Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте

любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.

Ночью вскóчите!

Я

звал!

Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,

в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять

над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

[1916]

Лиличка!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, иступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.

В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.

Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссецась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.

Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне

ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

1916 г. Петроград

Издевательства

Павлиньим хвостом распущу фантазию
в пестром цикле,
душу во власть отдам рифм неожиданных рою.
Хочется вновь услышать, как с газетных
столбцов зацыкали
те,
кто у дуба, кормящего их,
корни рылами роют.

[1916]

Ничемное самоутешение

Мало извозчиков?
Тешьтесь ложью.
Видана ль шутка площе чья!
Улицу врасплох огляните —
из рож ее
чья не извозчичья?

Поэт ли
поет о себе и о розе,
девушка ль
в локон выплетет ухо —
вижу тебя,
сошедший с козел
король трактиров,
ёрник и ухарь.

Если говорят мне:
— Помните,
Сидоров
помер? —
не забуду,
удивленный,
глазами смерить их.
О, кому же охота
помнить номер
нанятого тащиться от рождения к смерти?!

Все равно мне,
что они коней не пьют,
что утром не начищают дуг они —
с улиц,
с бесконечных козел
тупое

лицо их,
открытое лишь мордобою и ругани.

Дети,
вы еще
остались.

Ничего.

Подрастете.

Скоро

в жиденьком кулачонке зажмете кнутовище,
матерной руганью потрясая город.

Хожу меж извозчиков.

Шляпу на́ нос.

Торжественней, чем строчка державинских од.

День еще —

и один останусь

я,

медлительный и вдумчивый пешеход.

[1916]

Следующий день

Вбежал.

Запыхался победы гонец:

«Довольно.

К веселью!

К любви!

Грустящих к черту!

Уныньям конец!»

Какой сногшибательней вид?

Цилиндр на затылок.

Штаны — пила.

Пальмерстон¹ застегнут наглухо.
Глаза —
двум солнцам велю пылать
из глаз
неотразимо нагих.
Афиш подлиннее.
На выси эстрад.
О, сколько блестящего вздора вам!
Есть ли такой, кто орать не рад:
«Маяковский!
Браво!
Маяковский!
Здо-ро-воо!»
Мадам, на минуточку!
Что ж, что старá
Сегодня всем целоваться.
За мной!
Смотрите,
сие — ресторан.
Зал зацвел от оваций.
Лакеи, вин!
Чтобы все сорта.
Что рюмка?
Бочки гора.
Пока не увижу дно,
из рта
не вырвать блестящий кран...
Домой — писать.
Пока в крови
вино
и мысль тонка.

¹ П а л ь м е р с т о н — фасон пальто.

Да так,
чтоб каждая палочка в «и»
просилась:
«Пусти в канкан!»
Теперь — на Невский.
Где-то
в ногах
толпа — трусящий заяц,
и только
по дамам прокатывается:
«Ах,
какой прекрасный мерзавец!»
???

**Себе, любимому,
посвящает эти строки автор**

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!

Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я

если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо

сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовицу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачأت —
такой большой
и такой ненужный?

[1916]

Последняя петербургская сказка

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то

рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Древняя!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

[1916]

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.

«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут эта́жия.
Улицы плятятся.

Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.
[1916]

Братья писатели

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить ча́й,
построчно врать я, —
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,

если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:

Владимир Маяковский

«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

[1917]

Революция

Поэтохроника

6 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

7-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и долог.

В промозглой казарме

суровый

резвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жилилась.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,

приказавшему —

«Стрелять за голод!» —

заткнули пулей орущий рот.

Чье-то — «Смирно!»

Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.
9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградой.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страха и радужа.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
риннулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.